



## I

**Мы** попросим наших читателей последовать за нами по римским улицам. То, что мы хотим рассказать им, происходило в сентябре месяце 302 года по Рождестве Христовом. Солнце уже садилось. Небо было ясно, в воздухе веяло прохладой, и народ шел в сады Цезаря и Саллюстия насладиться вечерней прогулкой и узнать все городские новости.

Квартал, в который мы хотим повести наших читателей, назывался кварталом Марсова поля и находился между Тибром и семью холмами древнего Рима.

В последние времена республики на Марсовом поле происходили военные упражнения и бои гладиаторов, но в то время, о котором

мы говорим, все это пространство было уже застроено общественными зданиями: Помпей выстроил на нем театр, Агриппа — пантеон и примыкавшие к нему бани. Мало-помалу частные дома выстроились тут же: в один из таких домов мы поведем читателя. По внешнему виду этот дом был непривлекателен; характер его постройки был печален, почти мрачен. — Стены его, простые, без архитектурных украшений, были изредка прорезаны небольшими окнами. Вход в одной из стен этого небольшого четырехугольного здания обозначался двумя колоннами. На мозаичном полу, на самом пороге, начертано было благодушное слово: *Salve!* Переступая порог, входили в *атриум*, первый внутренний дворик, окруженный портиком или колоннадой.



Приветствие на пороге римского дома

Посреди этого дворика, вымощенного мраморными плитами, тихо журчала струя воды, проведенная из Клавдиева водопровода с высот Тускуланума. Хрустальная струя бежала сверху и упала в красный мраморный бассейн, из которого, клубясь и журча, выбегала опять и лилась в нижний, более широкий бассейн. Брызги воды орошали редкие растения, расположенные вокруг в изящных вазах. Под портиком стояла дорогая мебель, седалища, украшенные слоновой костью и даже серебром, столы из драгоценного дерева, отягченные бронзовыми и золотыми канделябрами, вазами, треножниками и удивительными бюстами, произведениями высокого, нынче нам уже недоступного искусства. Стены украшены были фресками, отделенными одна от другой нишами, в которых стояли статуи и бюсты, отличающиеся строгостью стиля. На самой середине полукруглого потолка, образованного сводами дома, находилось большое круглое отверстие. Оно называлось *impluvium* и было завешено от солнца и дождя плотным полотном. Отверстие это, нечто вроде огромного окна, пропускало мало света, отчего на внутрен-

нем дворике было довольно темно, будто стояли вечные сумерки. Но зато как тут было прохладно в жаркие летние и осенние дни! Сквозь этот искусственный полусвет довольно трудно было разглядеть, что находится далее. За арками, расположенными против тех, которые ведут во внутренний дворик, был другой вход на другой внутренний дворик, украшенный еще изящнее. Он был вымощен мраморными плитами и раззолочен по карнизам. Мраморные колонны поддерживали внутреннюю галерею, которая тянулась вокруг этого дворика.

В галерее сидела пожилая женщина. Черты лица ее были спокойны, выражение их задумчиво, почти печально. При первом взгляде на нее видно было, что она испытала великие несчастья, большие потери, но не упала духом. Волосы ее, почти уже совсем седые, причесаны были просто; прост был и покрой ее платья, на котором не видно было ни украшений, ни роскошного шитья, ни золотых драгоценностей, которые так страстно любили богатые и знатные римлянки. На пожилой женщине надета была только тонкая золотая цепочка; она обвила ее шею

и, по-видимому, придерживала под туникой драгоценную для нее вещь. Пожилая женщина вышивала по дорогой ткани какое-то покрывало и, занимаясь работой, не без некоторого беспокойства взглядывала по временам на дверь. Иногда она прислушивалась, не раздаются ли какие-нибудь шаги. По мере ожидания все тревожнее и тревожнее взглядывала она на двери дома, и наконец лицо ее осветилось радостью; она нагнулась вперед, будто спешила к кому-то навстречу, будто невольно приветствовала давно ожидаемого милого ей человека. Неужели по этому опасению и по этой радости, вспыхнувшей заревом на спокойном и печальном лице пожилой женщины, вы не угадали, читатель, что это любящая мать, ожидающая сына и узнавшая о его приближении еще издали по знакомой ей походке?

И вот он вошел. Ему было не более четырнадцати лет, но он казался выше ростом, чем обыкновенно бывают мальчики этого возраста. Лицо его было красивое, одушевленное уже пробудившеюся мыслью, и, взглянув на этого юношу, всякий мог догадаться, что он уже знаком с серьезной

стороной жизни, что он думает не об одних забавах, не об одном удовлетворении детских прихотей. В этом молодом и красивом лице видны были уже зачатки твердой воли, сильного характера и тревожной думы. На нем надета была обыкновенная одежда римских юношей — короткая туника, спускающаяся до колен. Круглый золотой шарик, называемый *bulia*, висел на его шее — это знак несовершеннолетия. За мальчиком шел старый слуга и нес свитки пергамента. Очевидно, что юноша возвращался из школы.

Поздоровавшись с матерью, он уселся подле нее.

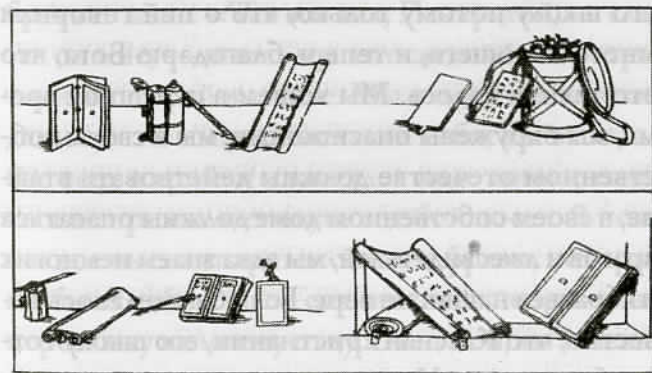
— Что так долго задержало тебя, дитя мое? — спросила она у него. — Я надеюсь, что с тобой не случилось ничего особенного?

— Ничего, уверяю тебя, милая матушка; по крайней мере, ничего особенно неприятного. Я расскажу тебе все подробно; ты знаешь, что я ничего от тебя не скрываю.

Она улыбнулась ему тихой и доброй улыбкой. Он продолжал:

— Я должен тебе сказать сначала, что нынче получил венок за декламацию. Учитель наш,

Кассиан, задал нам тему: *Истинный философ должен всегда жертвовать жизнью своей за истину.* Мои товарищи один за другим прочли свои сочинения, и, скажу тебе по правде, все эти сочинения показались мне страшно сухи и холодны, точно писали их по заказу и совсем не подумали о заданном им предмете; да это и не могло быть иначе. Они не виноваты, что не могли написать хорошо о том, чего не знают. *Истина* для них — слово, не имеющее смысла. Их жизнь так далека от всего, что похоже на истину; они незнакомы с учением, правила которого открывают нам то,



Письменные принадлежности римского школьника

что есть истина. Я убедился в этом нынче, вспомнив о тебе и об отце моем, умершем за истину; воодушевившись всем тем, что я слышал, чему верю и что почитаю, я в свою очередь написал очень скоро и с жаром прочитал мое сочинение. Лишь только я прочитал несколько строк, как учитель наш, Кассиан, вздрогнул и потом, наклонившись ко мне, сказал мне тихо: «Берегись, дитя мое, здесь есть уши, которые слышат и не забудут».

— Как! — прервала мать сына. — Разве Кассиан христианин и узнал христианина в тех мыслях, которые ты высказывал? Я выбрала для тебя его школу потому только, что о ней говорили много хорошего, и теперь благодарю Бога, что это так случилось. Мы живем в страшное время, мы окружены опасностями, мы в своем собственном отечестве должны действовать втайне, в своем собственном доме должны опасаться врагов и лжесвидетелей, мы едва знаем немногих из братьев наших по вере. Если бы сделалось известно, что Кассиан христианин, его школу тотчас бы закрыли. Но продолжай: неужели его опасения были основательны?

— Кажется, что так. Пока некоторые из моих товарищей чистосердечно хвалили и удивлялись моему сочинению, черные глаза Корвина грозно впились в меня. Он нетерпеливо кусал себе губы.

— Кто он такой?

— Он самый старший и самый сильный из учеников нашей школы, но, по правде сказать, он же и самый тупой. Конечно, он не виновен в своем тупоумии, но беда в том, что он зол; он ненавидит меня, и, право, я не знаю, за что. Когда мы вышли из школы и шли по берегу реки, он вдруг при всех моих товарищах стал бранить меня. «Так вот как, Панкратий, — сказал он мне, — нынче мы в последний раз встретились с тобой в школе. Мы в один день покидаем ее: ты нынче выставил себя, ты втоптал нас всех в грязь и насмеялся надо мною; только я не промах и сочтусь с тобой после. Я помню все высокопарные слова и фразы, которыми было набито твое сочинение, и непременно перескажу их моему отцу. Отец мой, ты знаешь, префект и готовит в эту минуту нечто такое, что подхватит и тебя».

Мать вздрогнула, но молчала; сын продолжал:

— После этого он предложил мне драться, но я не мог принять его вызова, так как это противно нашей религии. Я спокойно отвечал, что не хотел его обидеть, не хотел нисколько выставлять себя, как он сказал, не хотел ни над кем насмехаться; после того я хотел уйти вперед, чтобы не продолжать ссоры, но Корвин бросился на меня, схватил меня за руку и закричал: «Нет, ты не уйдешь, низкий обожатель ослиной головы!»\* Ты не говоришь, где ты живешь, но я узнаю это, я узнаю и отомщу тебе». Говоря это, он ударил меня. Юноша заплакал, но, преодолев свое волнение, продолжал:

— Если бы ты знала, милая мама, как билось мое сердце, как кипела во мне кровь; я горел желанием взять его за горло и бросить к моим ногам, я чувствовал, что силы у меня хватит; это было жестокое испытание!.. Но я вспомнил, чему ты учила меня, и покорился!..

\* Между клеветами, которыми осыпали христиан, установилась, между прочим, нелепость, будто они поклоняются ослиной голове!

— Ну, что же далее? Полно, не плачь; скажи мне, чем это кончилось, — спросила мать. — Как ты ушел от него?

— Кассиан, учитель наш, подоспел к нам в эту самую минуту. Он выручил меня и хотел наказать Корвина, но я умолял его простить ему.

В эту минуту служанка вошла в галерею; она зажгла лампы и мраморные и бронзовые канделябры. Яркий свет озарил Лукину и сына ее, Панкратия. Она поцеловала его в голову; не одно материнское чувство нежности к единственному сыну, не одно чувство материнской гордости — гордости весьма понятной, когда, после нескончаемых забот и бессонных ночей, мать видит своего сына почти взрослым, умным, красивым юношей, — сказалось в этом поцелуе; чувство более сильное, более глубокое и возвышенное владело Лукиной. Наступила та минута, о которой она мечтала целые годы: сын ее оставил школу и должен был вступить в свет. Панкратий был единственное дитя ее и должен был по достижении совершеннолетия принять опасный тогда сан священника. В то страшное время гонения на христиан самые сильные по характеру,

самые умные, ученые и почтенные люди посвящались в священники. Они не могли избежать опасностей, они знали заранее, что обрекали себя на верную смерть — смерть мученическую. Честью для себя считали они заплатить жизнью за свои верования. Обращение язычников в христианство, постоянные заботы о больных и бедных лежали, главным образом, на священниках; в минуты же наихудших преследований они одни из первых погибали в цирках, раздираемые зверями для потехи рукоплескавшей, жадной до зрелищ толпы римлян. Священники показывали пример — и гибли, проповедуя Евангелие и всенародно подтверждая истину своей веры. Лукина знала, что многие матери-христианки лишились всех детей своих; она сама вынесла страшное несчастье — муж ее, отец сына ее, Панкратия, умер замученный по приказанию императора.

Панкратий, взглянув на мать, был поражен выражением ее лица. Трудно описать, что прочел бы на нем всякий человек, даже и тот, который не одарен был свойством угадывать чувство и характер человека по выражению лица

его. Лицо Лукины будто просветлело, на нем отражались торжественная ясность и спокойствие, оно дышало энтузиазмом и теми высокими чувствами, которыми одарен лишь человек в целом великом Божием мире. Вся душа как будто выразилась в чертах ее лица, глаза блестели кротким светом; юноша был тронут до глубины души; он тихо опустился к коленям матери и обнял ее.

— Как долго я молилась, чтобы Бог привел меня увидеть этот день, — сказала ему мать, — я тщательно подмечала в тебе развитие каждого чувства и благодарила Бога, когда это было хорошее, христианское чувство. Я знаю, что ты послушен, добр, любишь Бога и ближнего. С неизъяснимым счастьем я заметила твое равнодушие к богатству, к удовольствию и тщеславию, твою любовь к бедным и несчастным. Я вижу, что ты наследовал добродетели твоего мученика-отца. Нынче ты выходишь из школы; нынче ты уже не дитя, а мужчина, взрослый человек, ты должен говорить, действовать и вести себя так, как прилично мужчине и христианину. Я полагаю, что

ты хорошо сознавал все, когда писал и читал свое сочинение. Да, счастлив тот, кто умирает за свою веру, за свои убеждения, словом, за то, что считает истиной.

— Да, мне кажется, что я сознаю это, мне кажется, что я готов умереть, если надо, за мою веру, за истину, — сказал тихо Панкратий.

— Ты настоящий сын своего отца. Хочешь ли во всем подражать ему?

— Конечно, милая матушка. Хотя я не знал отца, но его образ врезался в моем сердце. С раннего детства я слышал рассказы о его жизни, о его добрых делах и славной смерти. Всякий год, когда христиане празднуют его память и собираются в катакомбах молиться о нем, я чувствую, что сердце мое бьется и кровь кипит. Высока его участь, и я не раз из глубины души мысленно обращался к нему и просил его воодушевить меня силой и волей пролить кровь мою за ту же самую веру.

— Замолчи, замолчи! — сказала мать, неволь-но вздрагивая и смущаясь. Панкратий был ее единственный сын, и на нем после смерти мужа она сосредоточила всю свою любовь. Она была

женщина сильного характера, твердой воли, глубоко преданная своей религии; но она была мать, и сердце ее дрогнуло, когда единственный сын упомянул о своем желании умереть.

Мы уже сказали, что римские юноши носили на шее небольшой шарик, означавший, что они несовершеннолетние. Она сняла его с шеи сына и сказала:

— Ты получил в наследство от отца старинное имя, высокое положение в свете, огромное богатство — словом, все преимущества, которые так дорого ценятся в обществе, но я обладаю одной драгоценностью, которая дороже всего этого для меня и, надеюсь, для тебя; я хочу передать ее тебе.

Дрожащей рукою сняла она с себя цепочку, на которой была надета ладанка, вышитая жемчугом и дорогими камнями.

— Тут хранится кровь твоего отца. Я присутствовала при его смерти и сумела взять эту кровь из его ран, и сохранила ее для тебя как святыню...

Слезы прервали слова ее; они текли на склоненную голову сына, которого она благословила.

Он поцеловал ладанку и надел ее на шею. Ему казалось в эту торжественную для него минуту, что великий дух отца сходит на него и наполняет его душу новой силой, верой и энтузиазмом. Он чувствовал, что готов, подобно отцу, всем пожертвовать для своей веры.



## II

Пока в доме Лукины происходила эта трогательная сцена между матерью и сыном, в другом богатом доме — в доме Фабия, римского патриция, — случилось нечто иное, о чем мы намерены рассказать. Фабий был богат; дом его был убран с той роскошью, остатки которой до сих пор удивляют путешественников в музеях Рима и Неаполя. Комнаты были огромны; мозаичные полы покрыты персидскими коврами; окна и двери украшены китайскими тканями; мебель обита золотой парчой. Во всех нишах стояли драгоценные безделушки, выточенные из слоновой кости, вылитые из серебра и золота. Сам Фабий, хозяин дома, представлял собой совершенный тип тогдашнего римлянина. Он был человек нрава веселого и любил наслаждаться жизнью, то есть пользоваться всеми возможными удовольствиями, веселыми пирами в кругу друзей, зрелищами в цирке, музыкой и чтением лучших